

МАЛЕНЬКАЯ ВОЙНА

Повесть

Траляля взглянул на свои часы и сказал:

— Половина пятого.

— Подеремся часов до шести, а потом пообедаем, — предложил Труляля.

Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье»

Лучше погибнуть, чем жить без тебя.

Жаклин Кеннеди. 27 октября 1962 года

...Ночь в горах полна шорохов. Ветер раскачивает верхушки королевских пальм, сухо трещат лианы и цикады, поскрипывает в изголовье гамак, пищат в траве мыши. «Фр-р», — взлетела и канула в ночи огромная птица. Я лежу в обнимку с трофейным автоматом, дуло холодит висок. Звезд отсюда не видно, лишь роятся перед глазами светлячки. Кутаюсь в одеяло — не спится. Дело не в мышах. Повстанцы не боятся мышей, черт возьми! Снова приступ малярии — знобит, руки, сжимающие приклад, вспотели. Обычная история в сезон муссонов. Невидимый туман намочил усы и бороду. Во фляжке ром, на пару глотков, но пить перед боем нельзя, таков приказ. Разве что принять таблетку хинина, но не хочется будить маму. И так намаялась за неделю. Недавно обошел посты, дозор бодрствует, курит в рукав, как учили во дворе. Даже Борька не спит, этот засоня, который вечно опаздывает в школу. В штабной палатке команданте чистил свой «кольт». Я поделился тревогой. Под вечер в верховьях реки увлекло течением Боливара, и он подвернул заднюю левую. Команданте озабоченно погладил бороду. Минометные плиты придется нести по очереди, раненых — тоже. А тут еще дожди, речки взбесились, впереди — переправа...

Я просыпаюсь, шлепаю босиком за печку, тихо, чтоб не разбудить маму, делаю по-малому в горшок. Потом пью на кухне молоко из бутылки — пара глотков, не больше, — унимая колотящееся сердце. По потолку гуляют тени, тополя скребутся о карниз, за окном тонко плачет жестяной обод фонаря... Надо быть честным хотя бы перед собой. Я ненавижу драку и боюсь ее. Боюсь до тошноты. Но ничего не изменить. Чиркнув спичкой, вижу дату в отрывном календаре:

«1962 год.

28.

Октябрь.

Воскресенье».

Обе улицы, по уговору, как только стемнеет, окончательно выяснят отношения на ничейном пустыре за нежилым баракком и свалкой.

Со стены улыбаются Фидель и Гагарин. Спичка жжет пальцы... Терпи, маменькин сынок, равнение на Команданте!

«Почему не оседлан Боливар? Черт возьми, лейтенант, — слезы?!» — «Нет, Команданте, это все сезон муссонов, будь он проклят!»

— Сынок...

— Не зажигай света, мама! — закрываю лицо. Мама белеет в проеме. Хлопнула форточка, быстрее побежали по стенам узорчатые тени.

— Мне страшно... — рядом обдуло родным, кисловатым. — Проснулась, сама не знаю отчего... А тебе не страшно, сынок?

Ноет обожженный палец. Мне скоро тринадцать. И я — лейтенант. Если в драке мелькнет нож, я обязан стрелять. Таков приказ. Фидель переглядывается с Гагариным.

— Хотел закрыть форточку... — веду к постели маму, она худенькая и легкая. Мама засыпает сразу, держит меня за руку.

Стекло приятно холодит ноющий палец и лоб. В тусклом свете фонаря кружатся, кружатся сизые листья. Я слышу их печальный шепот. И старый наш барак кряхтит бревнами, подвывает чердаком — жалуется, что ли. Весь вечер его терзали нестройным пением и скандалами. Угломонились за полночь. Привычное дело — суббота. Пистолет-самопал упрятан в тайнике. Спят соседи, спит двор и его дети — солдаты повстанческой армии.

Сплю и я. Ночь в горах полна шорохов.

7:18. «Полет нормальный!»

Поутру в дверь стучат. Я знаю — кто. Шлепаю босиком, распахиваю дверь, бормочу спросонок:

— Доброе утро, Коминтерн Палыч...

Сосед — костистый, в разорванной майке — проходит на кухню и долго молчит. Молчу и я. Сплю стоя. Коминтерну Палычу стыдно. Это он вчера бил в коридоре жену и орал про советскую власть.

— А мамка где? — выдавливая из себя Коминтерн Палыч и сам же отвечает: — Ах да, на базаре...

Радио шепелявит последние известия. Кажется, будет конец света. Или нет — конец пятилетки. Хочется спать.

— Мама сказала — в шкафчике...

Коминтерн Палыч роняет табурет. Дергая кадыком, пьет водку из шкалика. Мама жалеет Коминтерна Палыча. Она всех жалеет.

Лицо соседа, опухшее, мутноглазое, разглаживается, как под утюгом. Он вздыхает и, словно птица, прикрывает глаза. Сейчас будет извиняться.

— Ты вот чего... Ты уж извиняй... Мамке скажи... так, мол, и так... Пошумели соседи-то... Шутка ли!..

Я извиняю соседей. Им не до шуток. Опять разводятся.

Коминтерн Палыч говорит еще что-то — невнятно, радостно, глотая слова. На впалой груди в обрамлении курчавой поросли синее портрет Сталина. Татуированные усы генералиссимуса шевелятся.

— Послушай... А моего оболтуса не видал? — обернулся у двери разговевшийся сосед. — Жена вроде на месте, Лаврентий тоже, а Петьки след простыл! Я пересчитал... Нету!

Коминтерн Палыч, надышав облачко сивухи, исчезает.

Сон как рукой сняло. Мне доподлинно известно, куда побежал Петька Хохряков, дворовая кличка Окуроч, рост метр с кепкой. На форпосте ему сегодня дежурить первым.

Заброшенная церковь на взгорье у самой Уды. Река плавно огибает толчею базара, ныряет под мост, по которому усатым тараканом ползет трамвай; врежется в побуревшие заросли тальника (лук и стрелы из него — что надо!), посверкивая, скользит вдоль дамбы и, устав, припадает к широкому плечу Селенги. Все это видно с колокольни. Уда делит город напополам, а мост один! Если заудинская шпана помыслит нарушить договор, а такое уже случалось, и расквасить нам носы поодиночке, то шиш им на постном масле. Мост как на ладони. Дозорный заметит с форпоста любое передвижение противника.

Мне не по себе. За разведку отвечаю головой. Первый рапорт — в восемь ноль-ноль. Воскресенье — день вероломства! Будь готов к труду и обороне!

Натягиваю телогрейку и несусь к реке. Жую на ходу ржаную горбушку, запиваю сереньким киселем тумана. Город отсыпается после рабочей недели. Дворники со злорадством поджигают кучи листьев. Их место на голых ветвях тополей заняли воробьи. Пока они молчат — солнца не видно. «Восход в 7:18. Заход в 17:19. Долгота дня 10:01», — твержу, как заклинание, цифры из отрывного календаря. Блеклые дымки газонов — будто от свежих воронок авиабомб. Улицы пустынные. В прифронтовом городе комендантский час. Ходу! — пока не зацапал патруль. Обгоняю телегу с дребезжащими бидонами; возница что-то кричит вслед. Жалкая гастроновская кляча — не чета моему Боливару!

Церковь — это вот что: стены, облупившиеся до красноты кладки, загаженные голубями, испещренные надписями, не всегда приличными; порушенные узоры окон,дохлые кошки, горлышки бутылок и стойкий запах внутри. Чем не боевой форпост? Но выше дышать легче.

Извозив телогрейку — внутристенный ход сужается кверху воронкой, — вползаю на колокольню. Колокола, само собой, нет и в помине. Петьки тоже. Свежо и гулко. Петькина фигурка — на дамбе, с удочкой. Вот хитрец! Свист у меня вполне командирский. Из-под купола шарахнулись голуби.

— А че такого, чес-слово! — не успев влезть на форпост, оправдывается Петька Хохряков. — Мост я и снизу засекаю... Полет нормальный!

По радио передавали запись старта «Востока-1». Искаженный помехами голос хладнокровно сообщал: столько-то секунд — полет нормальный. На Петьку это произвело громадное впечатление, как и на всех дворовых. Человека запускают в тартарары, а он — «Полет нормальный!».

Эти святые слова Петька вставляет по малейшему поводу. Тоже мне, космонавт!.. Петька Окурок — щуплый, с бегающими глазками, грязным носом-пяточком и всклокоченными волосиками — в отца. И выпить может, хотя ему на вид тринадцати не дашь. Всем желающим Петька объясняет, что у него тяжелое детство.

— К-курить нема? — у рыбака зуб на зуб не попадает. Удочку он спрятал в кустах у реки. От холодной воды руки у Петьки всегда красные, в цыпках, — грязь въелась под кожу.

— Полет норм!..

Кепку ему на уши, чтоб не болтал почем зря!

В церкви, пусть заброшенной, кошунствовать грех. А Гагарин — бог. И улыбка у бога хорошая. Любой пацан во дворе — да что там, в городе! — без запинки отбарабанит биографию Юрия Алексеевича. Когда он полетел в космос, все вывалили во двор, загомонили, побросали кепки вверх. Мужчины пустили по кругу бутылку. Учительский по прозвищу Батиста, красноречивый и кривоногий старшина, от избытка чувств пальнул из пистолета, а потом сокрушался: за патрон надо было отчитываться. Его успокоили — вынесли из дома патроны того же калибра и запасной магазин к трофейному парабеллуму. Женщины и мама плакали. Думали, что наступил коммунизм.

Этим летом тоже был шум: в космосе очутились Николаев и Попович, — но пальбы уже не было. Зато Фидель, говорили, салютовал космонавтам на другом конце шарика. Всей облоймой. Самолично. Вот что значит барбудос! Они и америкашкам дадут под зад в Карибском море! В позапрошлую субботу мужики из нашего барака писали письмо Фиделю. Перечисляли награды и рода войск. Пока что с Кубы не ответили: там у них заварушка намечается. Американский империализм вконец обнаглел. У мамы в цехе был митинг. «Руки прочь», значит. Маме, как ударнику комтруда, дали слово, а она заплакала, испугалась чего-то...

— Батя заходил? — клацнул зубами Петька.

— Как обычно.

— Не говори Хрому про рыбалку, — затараторил он. — Если б не она, чес-слово, не встал бы! Я рыбу еще ни разу не проспал! Думаешь, спать неохота? Батя мамку всю ночь гонял, хотел к Батисте бежать, да мамка не дала. Синяк у ей, у мамки-то...

Петька Окурок — заядлый рыбак. Прошлым летом он в поисках червей подрыл забор у кладовок, и тот рухнул. Дворовая общественность в лице старосты Кургузова, непьющего персонального пенсионера, грозила писать куда следует. Петька был нещадно выпорот отцом, пороссячий визг Окурка разносился по всей округе. И еще. Однажды, когда мы с мамой сидели без денег, Петька приволок ведро хариусов.

— Ладно, не скажу.

— Полет нормальный! — Петька нашел окурки и, счастливый, попыхивает.

Я смотрю на город. На заводских трубах трепыхаются рваные простыни тумана. Ночь капитулирует. 7:18. Розовый шар едва касается островерхих гор и лопаются ослепительными брызгами. Искристые капли солнечной влаги оседают на крышах и окнах, на кончиках антенн, строительных кранов и удочек заядлых рыболовов.

И в тот же миг золотом вспыхивает река. Я закрываю глаза. Драка начнется в сумерках.

— Чего ты? — шепчет Петька. Он дрожит.

— Солнце, не видишь?

— Вижу... — не сразу отзывается Петька. — Щас бы в колокол, а?

Встречный ветер ерошит чубы. Подобно большому кораблю, город плывет в пылающем мареве рек. С капитанского мостика видно далеко. Улицы корабля оживают. Бежит трамвай, урчат автомобили, люди-мураши потянулись к муравейнику-базару. Всюду кумачовые пятна — нашей революции исполняется сорок пять. Я люблю город. Знаю, вблизи он не так красив. С деревянными тротуарами и бараками, яблоками конского навоза на асфальте, пылью и очередями. Но это мой город. Мой, понятно?..

Неожиданно Петька кричит благим матом. Окурки прижег ему пальцы. И поделом. Нечего зевать в дозоре.

На мосту течет жидкий ручеек прохожих. В руках у них мирные авоськи. Детская коляска. Одинокий велосипедист. Девочка с собакой. Двое с удочками... Стоп! На мосту вооруженная колонна! Тьфу, да это пионеры тащат металлолом. Их обгоняет трамвай. Но в него заудинская шпана с палками и прочим боевым скарбом не сунется. Пассажиров пугать — милицию кликать.

— Да кому эт надо! — морщится Петька. — Зауда спит детским сном... Слышь, лейтенант! В-в-ва...

Честно говоря, я бы с удовольствием отпустил Петьку. Толстые стены излучают январскую стужу. Колокольня наполовину замурована, но сквозняк чувствительный. После рыбалки, видать, особенно. Щебень, мусор, останки голубя под ногами. Надпись: «Дурак!» Обрывок веревки под куполом. Тоска.

И почему это на колокольне нет колокола?

— С утра не жрамши... — ноет Петька. От него воняет рыбой и дезертирством.

И торчать ему, горемыке, на форпосте, пока не сменят. И кто?! Борька-засоня. Покидаю товарища скрепя сердце. На войне как на войне...

Никто не знает, из-за чего сыр-бор и сколько лет война эта длится. Наверное, вечность. Когда я явился в этот мир, он уже враждовал. Боевое крещение получил в детском саду — вражеский младенец укусил за нос. Родной двор утешил и научил давать сдачи. Всучил рогатку, позже кое-что потяжелее.